

В. Г. Белинский

**Полное собрание
сочинений**

Том 2

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82
ББК 83
Б43

Б43 **Белинский В.Г.**
Полное собрание сочинений: Том 2 / В. Г. Белинский – М.: Книга по Требованию, 2013. – 759 с.

ISBN 978-5-518-16230-3

Том II. Статьи и рецензии 1836—1838 годов «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя"», «Несколько слов о „Современнике"», «Вторая книга „Современника"», «Опыт системы нравственной философии. Соч. А. Дроздова», «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» и др.). «Основания русской грамматики для первоначального обучения».

ISBN 978-5-518-16230-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

1. НИЧТО О НИЧЕМ, ИЛИ ОТЧЕТ г. ИЗДАТЕЛЮ
«ТЕЛЕСКОПА» ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ (1835)
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ¹

⟨1⟩

Вы обязали меня сделать легкий и короткий обзор хода нашей литературы, во время вашего пребывания за границей, и привели меня тем в крайнее затруднение.² Разве вам не известно, что *ничто не ново под луною*?³ Каких же хотите вы новостей от русской литературы, и в такой короткий период ее существования? «Тем лучше для вас, тем меньше вам труда», — скажете вы. Нет, вы не правы: труда от этого мне не только не меньше, но предстоит истинно геркулесовский подвиг: я должен написать статью, а из чего я вам напишу ее, о чем буду повествовать вам в ней? О *ничем*?.. Итак, надо сделать *что-нибудь* из *ничего*? — Помните ли вы, как один из знаменитейших наших писателей, из первостатейных гениев, угомонил на смерть свою литературную славу тем, что вздумал писать о *ничем*, и весь вылился в *ничто*?..³ Конечно, я не пользуюсь литературною славою и, следовательно, не подвергаюсь опасности посадить ее на мель рокового *ничто*; но у меня другой страх, и очень основательный. Если я не пользуюсь ни тению той лучезарной славы, которою сиял некогда помянутый великий писатель, то вместе не имею и искры его гения, который нашелся, хотя и в конечной погибели своей репутации, высказаться в *ничем* на нескольких страницах. Притом же, хотя я, в отсутствие ваше, волею или неволею, играл роль сторожа на нашем Парнасе, окликаая всех проходящих и отдавая им, своею алебардою, честь по их званию и достоинству, хотя неумоимо и неусыпно стоял на своем посту, однако ж многое ускользнуло от моей бдительности. Бывало, нахлынет целая толпа — и тут некогда было расспрашивать каждого порознь; стукнешь але-

бардою по всем и пропустишь. А теперь неужели мне надо делать поголовную переключку, бегать по всем закоулкам и собирать народ православный? Нет — отскокаюсь от этого труда; и так было много хлопот и, может быть, много шума из пустяков! — Да и притом, возможное ли это дело? Много ли из тех, которые промчались мимо моей сторожки, остались теперь в живых?.. Итак, я скажу вам только разве о тех лицах, которые особенно врезались в моей памяти, буду повествовать только о тех событиях и случаях, которые особенно поражали мое внимание. Мой обзор будет отрывчат, беспорядочен и несвязен, как всякий рассказ наскоро о предмете многосложном, разнообразном и ничтожном.

Итак, я *обозреваю*, становлюсь *обозревателем!* — *Обозревать, обозреватель* — вы помните, как громко звенели некогда эти два словца в нашей литературе?¹ — Кто не обозревал тогда? Где не было обзоров? Какой журнал, какой альманах не имел своего штатного обозревателя? — И это была должность не трудная, легкая, казенная; за нее брался всякий, не запасаясь дорогим лорнетом учености, даже иногда вовсе без очков грамматики и здравого смысла! — Отчего ж теперь так мало пишется обзоров? Куда девались все эти обозреватели? — Я прошу у вас позволения заняться предварительно разрешением этого любопытного вопроса, хотя по крайней мере для того, чтоб наполнить мою статью объяснением причин, почему она не может быть *ничто?*

Обозрения всякого рода бывают результатом или сознания силы, или сомнения в ней. Кто часто пересчитывает свои деньги, поверяет счета и подводит итоги, тот или богатеет день ото дня, или беднеет; само собою разумеется, что в первом случае он хочет удостовериться в улучшении своего состояния и определить степень этого улучшения, а во втором случае хочет измерить глубину своего падения, хочет взглянуть в бездну, отверстую перед ним, как бы с намерением приучить себя заранее к ее ужасному виду, или как будто находя жестокое наслаждение в сознании своего бедственного положения, веселясь собственным своим отчаянием. У нас была уже литература, был Ломоносов, Сумароков, Херасков, Петров, Державин, Фонвизин, Хемницер, Богданович, Капнист; потом, Карамзин, Дмитриев, Крылов, Озеров, Мерзляков, и наконец, Батюшков и Жуковский: все эти люди пользовались почти равным участием славы, всеми ими восхищались почти в равной степени, по крайней мере, все они слыли равно за *художников* и *гениев* (или, по-тогдашнему, за *образцовых писателей*). Критиковать тогда значило хвалить, восхищаться, делать возгласы и много-много, если указывать на некоторые неудачные стишки в целом сочинении или на некоторые слабые места, с советом поэту, как

их *починить*. Понятия о творчестве тогда были готовые, взятые напрокат у французов; критики не было, потому что критика более или менее есть сестра сомнению, а тогда царствовало полное убеждение в богатстве нашей литературы как по количеству, так и по качеству; литературных обзоров тогда тоже не было и не могло быть, потому что в обозрение всегда входит критика, а вместо их иногда случались по временам, и то редко, реестры писателей и их писаний, перемешанные с известным числом хвастливых восклицаний. Мерзляков вздумал было напасть на авторитет Хераскова и, взявши ложные основания, высказал много умного и дельного, но как его критицизм был явным анахронизмом, то и не принес никаких плодов.¹ Но вдруг всё переменялось: явился Пушкин и вместе с ним так называемый *романтизм*. В чем состоял этот романтизм? В отношении к Пушкину этот романтизм состоял в том, что, изо всех наших поэтов, Пушкина одного можно было назвать поэтом-художником и не ошибиться; что он, вместо того, чтобы писать громкие и торжественные оды на современные события, обыкновенно или теряющие свою прелесть для потомства, или представляющиеся ему в другом свете, стал говорить нам о чувствах общих, человеческих, всем более или менее доступных, всеми более или менее испытанных; что он попал на истинный путь и, будучи рожден поэтом, свободно следовал своему вдохновению. Да! воля ваша, а я крепко убежден, что *народ* или *общество* есть самый лучший, самый непогрешительный критик. Я однажды высказал или, лучше сказать, повторил чужую мысль, что *Державина спасло его невежество*: отрекаюсь торжественно от этой мысли, как совершенно ложной.² Державин не был учен, но находился под влиянием современной ему учености, разделял верования и мнения своего времени об условиях творчества и, на зло своему гению, всю жизнь свою шел по ложному пути. Поэтому те из его созданий, которые противоречили современной ему эстетике, отличаются истинною поэзиею. Возьмите, например, «Водопад»: похоже ли это на оду, дифирамб, кантату? Это просто элегия, которая, по своей форме и своему духу, только тем отличается от элегий даже самых крошечных наших поэтиков, что запечатлена гением Державина. И зато как прекрасна и глубока эта элегия! — Но возьмите его торжественные оды: что это такое? Посмотрите, как он в них никогда не мог поддержать до конца своего напряженного восторга, как он в конце каждой из них падал и, начавши высоко и громко, оканчивал ровно ничем! — И кто станет теперь читать эти торжественные оды?.. Измаил, Прага, Римник, Кагул — все эти имена напоминают о действиях великих; но то ли они, эти великие действия, для нас, чем были для современников? Мы, юноши нынешнего века, мы, бывши мла-

денцами, слышали от матерей наших не об Измаиле, не о Кагуле, не о Рымнике, а об двенадцатом годе, о Бородинской битве, о сожжении Москвы, о взятии Парижа. Эти события и ближе к нам по времени и поважнее прежних в своей сущности; да и они слабеют уже в нашем воображении, заглушаемые громами араратскими, забалканскими, варшавскими.¹ Но поэзия всех этих великих происшествий сама по себе так необъятна, что ее трудно уловить, увековечить в звуках. Сверх того, мы уже уверились теперь, что факт или событие сами по себе ничего не значат: важна идея, выражаемая ими. Итак, что же значат все эти торжественные оды, какой интерес могут иметь для потомства все эти громогласные описания? Скажут: это питает народную гордость, дает наслаждение святому чувству любви к отечеству. Русские брали непреодолимые твердыни и всему свету доказали свою храбрость; это подвиги, которые поэзия должна передавать потомству: очень хорошо! но ведь храбрость есть неотъемлемое свойство русских; но ведь они доказывали ее всегда и везде, как только был случай; но ведь ничтожная жгорсть русских удержала за Россию Грузию и уничтожила все попытки персидской армии; но ведь ничтожная же горсть русских отбила Армению и защитила ее против Персии и Турции?.. Эти подвиги у нас так часты, так обыкновенны; они составляют ежедневную жизнь народа русского... Да! Державин шел путем слишком тесным: он льстил современности, нападал на интересы частные, современные и редко прибегал к интересам общим, никогда не стареющим, никогда не изменяющимся — к интересам души и сердца человеческого! И в этом виновата ученость века, которой он был непричастен, но под влиянием которой он всегда находился. Не зная по-латыни, он подражал Горацию, потому что тогда все подражали Горацию; не постигнув духа и возвышенной простоты псалмов Давида, он перелагал их с прозы на громкие, напыщенные стихи, потому что все наши поэты, начиная с Ломоносова, делали это, не говоря уже о французах. Гораций воздвигнул себе *памятник*, Державин тоже; но что у первого было, вероятно, вдохновением, то у второго было подражанием.² Обратимся назад. Итак, романтизм, в отношении к Пушкину, состоял в том, что он искал поэзии не в современных и преходящих интересах, а в вечном, неизменяемом интересе души человеческой.* В отношении к другим поэтам, вышедшим вслед за Пушкиным, романтизм состоял в том, что ода была решительно заменена элегией, высокопарность — унылостью, жесткий, ухабистый и неуклюжий стих — гармоническим, плавным, гладким. В отношении к целой литературе романтизм

* Этот вопрос будет подробно рассмотрен нами в особенной статье о Пушкине, которая уже пишется.³

состоял в том, что было отвергнуто, как нелепость, драматическое триединство, хотя не было написано ни одной хорошей драмы. Итак, вот весь наш романтизм! Тогда явилось множество поэтов (стихотворцев и прозаиков), стали писать в таких родах, о которых в русской земле дотоле было видом не видать, слыхом не слыхать. Тогда-то наши критики пустились в обзоры: они увидели, что у нас есть писатели и в классическом и в романтическом роде, и захотели поверить свое родное богатство, подвести его итоги. Это была эпоха очарования, упоения, гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты, которых мы теперь забыли и имена и творения, казались чем-то необыкновенным и великим. И это было очень естественно: новость направления и духа сочинений всегда бывают камнем преткновения для критики.

Итак, очень ясно, что раннее очарование, непрочные надежды родили гордость и самоуверенность в наших критиках; а гордость и самоуверенность породили множество обзоров. Только один Пушкин был предметом, достойным и обзоров, и критик, и споров, а между тем всё шло зауряд в обзоры. И, разумеется, эти обзоры были важны, горды и веселы, как молодые надежды, как неопытная юность, гордящаяся силами, еще не удостоверясь в них. Новость за новостью, поэма за поэмою, роман за романом, повесть за повестью, альманах за альманахом, журнал за журналом, а элегии и отрывки без числа, без меры, и всё это возбуждало участие, восторг, удивление, потому что всё это было ново. Следовательно, обозревателю было что обозревать, было о чем потолковать. Одна голая и сухая перечень годовых явлений литературного мира могла составить статейку; а разведенная фразами, разжиженная чувствованьями, сдобренная теориями и идеями, эта перечень превращалась в большую статью. И эту статью читали наперерыв и с гордостью повторяли находившиеся в ней итоги и возгласы.

Между тем начиналась уже и критика. Так как романтизм привел за собой эманципацию, то естественным образом начало закрадываться сомнение насчет достоинства писателей прежней школы. Нападая на классицизм, стали нападать и на классиков, не подозревая, что, с немногими исключениями, выигрыш состоял только в Пушкине, а что всё остальное была та же старина, только на новый лад. Но пока управлялись со стариками, и новички успели состариться и наскучить. Разумеется, это совершилось не вдруг, а постепенно. Тогда обзоры начали терять свой кредит, и вместо их начала усиливаться основательная критика.

Итак, теперь — что теперь обозревать? Нового уж нет ничего, всё старо. У меня страстная охота писать, и я, во что бы то ни стало, хочу написать роман — но что же? Я во всем предупреж-

ден! Хочу писать роман исторический — старо; перерываю все эпохи русской истории — старо; хочу писать роман нравоописательный и нравственно-исторический — но и это старо и пошло,¹ хочу писать роман географический, статистический, топографический — опять старо; вздумал было однажды нравственно-фантастический — но и тут какой-то злодей предупредил меня; хочу писать подземный, представить людей маленьких с мизинец и потом больших с коломенскую версту — куда! этим еще восемнадцатый век воспользовался, а я ничего не хочу иметь общего с восемнадцатым веком; но вот вдруг блеснула светлая мысль: хочу вывести людей допотопных и потом людей ходящих, мыслящих и говорящих вверх ногами — и тут предупредила меня игривая фантазия Барона Брамбеуса.² Ну, поверите ли, почтенный издатель «Телескопа», куда я ни бросался, как ни ломал свою бедную голову, а кончил тем, что пришел в отчаяние и решил не писать ничего по части поэзии. Но наши писатели не так робки и, может быть, не так горды и самолюбивы в этом отношении, как я: они, зная свое — тормозят старину и слушать не хотят ни публики, ни рецензентов. Честь и слава их храбрости, но каково публике-то от этой храбрости? — Но публике поделом: кто ее заставляет пробавляться истертою стариной! — А каково рецензентам-то? — Но и им поделом: кто их заставляет писать рецензии и горячиться из пустяков? — А каково обозревателям-то — что им остается обозревать? — А кто их заставляет обозревать, когда нечего обозревать? — Они и не обозревают!.. И слава богу!..

И после этого вы, милостивый государь, требуете от меня — чего же? — обозрения!.. Но, видно, делать нечего — и я, в угождение вам, посвящаюсь в обозреватели!..

Увы! миновалось то золотое, прекрасное время, когда наши красноречивые обозреватели, в сердечной простоте, с теплою верою, с полным убеждением, что они делают дело, а не порют вздор, начинали свои обозрения взглядами на состояние земного шара, когда еще на нем не было людей, или с яиц Леды, или с потопа, или, по крайней мере, с Греции и Рима, чтобы прошедшим объяснить настоящее.³ Обозревателю наших дней не для чего залетать так далеко: он должен начать с предмета, самого близкого к сердцу всех и каждого, самого необходимого в жизни — с *кармана*... Да! в кармане должен видеть он таинственный рычаг этой литературной деятельности, которая промышленяет и оптом и по мелочи; в нем должен искать он решения на все мудреные загадки современной русской литературы. Увы! миновал золотой век нашей литературы, наступил железный, а

...В сей век железный,
Без денег, слава — ничего!⁴

Что делать! покоримся судьбе — видно, так должно быть, а чему быть, тому не миновать! Теперь все пустились в литературу, все сделались поэтами, романистами и повествователями. Классический период нашей литературы был не умнее, но как-то благороднее нынешнего; тогда пускались в литературу из славы, из известности, и притом только люди, по крайней мере, знавшие грамматику, знакомые с литературным тактом своего времени, не чуждые здравого смысла; теперь же романтизм освободил нас и от грамматики, и от приличия, и от здравого смысла. Тогда литература была уделом какого-то привилегированного класса; теперь же пишут и сапожники, и пирожники, и подьячие, и лакеи, и сидельцы *овощных* и *мушных* лавок, словом, все, которые только умеют чертить на бумаге каракульки. Откуда набралась эта сволочь? Отчего она так расхрабрилась? Где рычаг этой внезапной и живой литературной деятельности? Я уже сказал, что его надо искать в *кармане*... — Знаете ли что, почтеннейший Николай Иванович!¹ Я душевно люблю православный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе; но моя любовь сознательная, а не слепая. Может быть, вследствие очень понятного чувства, я не вижу пороков русского народа, но это несколько не мешает мне видеть его странностей, и я не почитаю за грех пошутить, под веселый час, добродушно и незлобиво, над его странностями, как всякий порядочный человек не почитает для себя за унижение посмеяться иногда над собственными своими недостатками. Знаете ли вы, в чем состоит главная странность вообще русского человека? В каком-то своеобразном взгляде на вещи и упорной оригинальности. Его упрекают в подражательности и бесхарактерности; я сам, грешный, вслед за другими взводил эту небылицу (в чем и каюсь); но этот упрек неоснователен: русскому человеку вредит совсем не подражательность, а, напротив, излишняя оригинальность. Пробегите в уме вашем всю его историю — и доказательства явятся перед глазами. Вот они... Но постойте, чтоб яснее выразить мою мысль, я должен прибавить, что русский человек с чрезвычайною оригинальностью и самобытностью соединяет и удивительную недоверчивость к самому себе и, вследствие этого, страх как любит перенимать чужое, но, перенимая, кладет тип своего гения на свои заимствования. Так, еще в давние веки, прослышал русский человек, что за морем хороша вера, и пошел за нею за море. В этом случае он, по счастью, не ошибся; но как поступил он с истинной, божественной верой? Перенес ее священные имена на свои языческие предрассудки: св. Власию поручил должность бога Волоса, Перуновы громы и молнии отдал Илье-Пророку и т. д. Итак, вы видите: переменялись слова и названия, а идеи остались всё те же! Потом явился на Руси царь, умный и

великий, который захотел русского человека умыть, причесать, обрить, отучить от лени и невежества: взвыл русский человек гласом велиим и замахал руками и ногами; но у царя была воля железная, рука крепкая, и потому русский человек, волею или неволею, а засел за азбуку, начал учиться и шить, и кроить, и строить, и рубить. И в самом деле, русский человек стал походить с виду как будто на человека: и умыт, и причесан, и одет по форме, и знает грамоту, и кланяется с пришаркиваньем, и даже подходит к ручке дам. Всё это хорошо, да вот что худо: кланяясь с пришаркиваньем, он, говорят, расшибал нос до крови, а подходя к ручкам прелестных дам, наступал на их ножки, цепляясь за свою шпагу и не умея справляться с трехуголкою; выучив наизусть правила, начертанные на зеркале рукою великого царя,¹ он не забыл, не разучился спрягать глагол *братъ* под всеми *видами*, во все *времена*, по всем *лицам* без изъятия, по всем *числам* без исключения; надевши мундир, он смотрел на него не как на форму идеи, а как на форму парада, и не хотел слушать, когда мудрое правительство толковало ему, что правосудие не средство к жизни, что присутственное место не лавка, где отпускают и права и совесть оптом и по мелочи, что судья не вор и разбойник, а защитник от врагов и разбойников. Потом был на Руси другой царь, умный и добрый; видя, что добро не может пустить далеко корня там, где нет науки, он подтвердил русскому человеку учиться, а за ученье обещал ему и большей чин и знатное место, думая, что приманка выгоды всего сильнее; но что ж вышло?..² Правда, русский человек смышлен и понятлив, коли захочет, так и самого немца за пояс... И точно, русский принялся учиться, но только, получив чин и место, бросал тотчас книги и принимался за карты — оно и лучше!.. Итак, не ясно ли после этого, что русский человек самобытен и оригинален, что он никогда не подражал, а только брал из-за границы формы, оставляя там идеи, и одевал в эти формы свои собственные идеи, завещанные ему предками. Конечно, к этим доморощенным идеям не совсем шел заморский наряд, но к чему нельзя привыкнуть, к чему нельзя приглядеться?..

Обратимся к литературе. С нею русский человек поступил точно так же, как и со всем тем, о чем я уже говорил. Как всё прочее, она у него — цветок пересаженный и, надо сказать, как всё хорошее, не им самим, а правительством. Литература наша началась при Елисавете, а получила некоторую оседлость при Екатерине II. Нам известно, что в царствование этой великой жены наша литература находилась, подобно почти всем европейским литературам, под влиянием французской. Французская литература была тогда полным выражением XVIII века, а что такое XVIII век, об этом всякий знает. Мы скажем голько, что XVIII век был малый веселый и разгульный, лю-

бил мягко поспать, сладко поесть, пьяно попить и ни о чем не тужить. *Веселиться* — была его цель, и все средства почитал он позволенными к достижению этой цели. Всём известна мудрая русская пословица: «Богатый на деньги, а голь на выдумки». Поэты и вообще литераторы были тогда люди бедные и неважные, но это не помешало им веселиться наравне с людьми богатыми и веселыми: они надели на себя ливреи людей богатых и важных и, за их столами, *в восторге радости, запели песни дивные, живые*.¹ Кого ж они воспевали? Героев тогда не было; греческая литература была плохо понимаема, но хорошо была понята литература латинская — и стали воспевать меценатов! Да как было и не воспевать их? Люди были они богатые, поэтов кормили сладко, хотя иногда употребляли их вместо плевалниц, но что ж за беда — ведь утереться не трудно. Этого было довольно для русского человека: он так хорошо, на этот раз, сошелся с французом, что взял и идею и форму и, следовательно, еще в первый раз, явился совершенным подражателем. Тогда-то пошли наши оды, с любимым словечком: «*о ты*», и пр. Но в мире всё оканчивается, кончился и XVIII век, кончился везде, а у нас еще здравствовал и только в одной литературе стал изменяться. В этом отношении мы должны с благодарностью произносить имя Жуковского, познакомившего нас с германскою литературой и передавшего нам несколько благоуханных цветов ее. Были дарования, но иные из них шли не своею дорогою, сбиваемые XVIII веком, и остались только в литературных обозрениях, а не в памяти народа; другие, по своей незначительности, успели добиться только эфемерной славы. Идея искусства и потребность искусства проявились только в начале третьего десятилетия настоящего века; но, кроме Пушкина и Грибоедова, не было поэтов; зато, как я уже и говорил выше, было много обозрений.

Какое ж следствие из всего этого? А вот какое: сначала наша литература родилась вследствие мысли правительства и симпатии характера русского народа к господствовавшему тогда характеру французов; потом она сделалась подражательницей вдруг нескольких литератур; теперь... теперь... — Но позвольте мне после вывести полный и удовлетворительный результат. Я так уже устал, а впереди предстоит большой труд: трудно обозреть цветущую долину, но еще труднее бесплодную аравийскую степь и потому

до следующей книжки.

⟨II⟩

Начинаю мое обозрение с журналов, потому что, как ни мало теперь у нас журналов, но всё больше, чем книг. Разумеется, на те и другие я смотрю, как обозреватель, которому

ТЕЛЕСКОПЪ,

ЖУРНАЛЪ

СОВРЕМЕННОГО ПРОСВѢЩЕНІЯ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

НИКОЛАЕМЪ НАДЕЖДИНЫМЪ

ЧАСТЬ XXXI

Nosce te ipsum!



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФИИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА.

1836.

*Титульная страница журнала «Телескоп» 1836 г., № 1,
в котором была напечатана статья В. Г. Белинского
«Ничто о ничем...»*